

Невозможно разделить человечество на плохие и хорошие народы, а между тем такое деление является излюбленным оправданием завоевателей и патриотов. Но разве не ясно, что в каждой национальной общности есть свои праведники и злодеи? Да и любая человеческая особь несёт в себе противоречивые черты. Казалось бы, это азы просвещённого сознания, но, увы, массовые безумства то и дело комкают и рвут на клочки благонамеренные договоры, подписанные дипломатами. Двадцатый век весь прошёл под знаком ненависти (национальной, расовой, классовой), возведённой в ранг государственных идеологий. Казалось бы, такие немыслимо бредовые злодеяния, как Голодомор, Гулаг или Холокост, являются тупиковыми примерами того, как нельзя. Разве до кого-то ещё не дошло, что НЕЛЬЗЯ ВООБЩЕ и нельзя в частности покушаться на людей, лишая их прав и самой жизни по признаку иной общности или иной национальности? А не лучше ли в идеале совсем отменить это понятие? Или, как в самых благо-глупых мечтах, поскорее переженить все народы? К счастью или нет, но такое невозможно. Многие представители национальных меньшинств и, в частности, евреи изнемогали в Советском Союзе от анкетного пятого пункта, но вот они организовали своё государство, где этот пункт стоит на первом месте, а те, кто ему не соответствует, жениться ездят в соседнюю страну.

И ведь похожие конфликты были не только в прошлом, но и в предыдущем веке. В лучших помыслах о будущей семье народов два молодца, два национальных гения – **Пушкин** и **Мицкевич** – обменялись рукопожатием, укрывшись одним плащом от дождя, стоя перед Медным всадником, которого они потом так по-разному истолковали. И это не удивительно, ведь для одного император был символом военной славы и реформаторской воли, а для другого – символом подавления народов. Конечно, трудно представить себе счастливую семью, где один брат поработает другого, – а как иначе мог воспринять «младший» два раздела родной страны и две кровавых расправы с польскими патриотами? Кстати, и сам Мицкевич оказался сослан из своей Литвы в... северную столицу, откуда Пушкин по сходным полицейским мотивам был, наоборот, выслан. Их встреча, как мы знаем, состоялась, но молодой Александр никак не мог себя чувствовать старшим братом по отношению к Адаму – ни по рождению

(тот родился чуть раньше), ни по восприятию современников, ведь один вёл себя в салонах и гостиных как дерзкий шалопай, а другой – как европейский джентльмен. В анекдотической форме это описал Пётр Вяземский: «Пушкин, встретясь где-то на улице с Мицкевичем, посторонился и сказал: «С дороги двойка, туз идет». На что Мицкевич тут же отвечал: «Козырная двойка туза бьет».

Став эмигрантом, польский изгнанник вспоминает со скорбью о тех, кто был истинно близок ему в России, и с негодованием о тех, кто поддержал кровавую расправу над Польшей, вновь восставшей в 1831 году. Имел ли он в виду Пушкина, автора антипольских, проимперских стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»?

Вы – помните ль меня? Когда о братьях кровных,
Тех, чей удел – погост, изгнанье и темница,
Скорблю – тогда в моих видениях укромных,
В родимой череде встают и ваши лица.

Где вы? Рылеев, ты? Тебя по приговоре
За шею не обнять, как до кромешных сроков, –
Она взята позорною пенькою. Горе
Народам, убивающим своих пророков!

Бестужев! Руку мне ты протянул когда-то.
Царь к тачке приковал кисть, что была открыта
Для шпаги и пера. И к ней, к ладони брата,
Пленённая рука поляка вплоть пририта.

А кто поруган злей? Кого из вас горчайший
Из жребиев постиг, карая неуклонно
И срамом орденов, и лаской высочайшей,
И сладстью у крыльца царёва бить поклоны?

А может, кто триумф жестокости монаршей
В холопском рвении восславить ныне тщится?
Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,
И, будто похвалой, проклятьями кичится?

Из дальней стороны в полночный мир суровый
Пусть вольный голос мой предвестьем воскресенья -
Домчится и звучит. Да рухнут льда покровы!
Так трубы журавлей вешают пир весенний.

Мой голос вам знаком! Как все, дохнуть не смея,
Когда-то ползал я под царскою дубиной,
Обманывал его я наподобье змея –
Но вам распахнут был душою голубиной.

Когда же горечь слёз прожгла мою отчизну
И в речь мою влилась – что может быть нелепей
Молчанья моего? Я кубок весь разбрызну:
Пусть разъедает желчь – не вас, но ваши цепи.

А если кто-нибудь из вас ответит бранью –
Что ж, вспомню лишний раз холуйства образ жуткий:
Несчастный пёс цепной клыками руку ранит,
Решившую извлечь его из подлой будки.

(перевод А. Якобсона)

Эти запальчивые, как пощёчина, строки послания «К русским друзьям» Пушкин вполне мог воспринять лично. «...Их надобно задушить и наша медленность мучительна...» – писал он Вяземскому о восставших. Тот пришёл в ужас. В своём ответе Мицкевичу, однако, Пушкин отводит от себя обиду, его строки звучат укором, но в резкости тона уступают польскому оппоненту.

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали его. Но он
Ушёл на Запад – и благословеньем
Его мы проводили – что ж – теперь
Наш мирный гость нам стал врагом – и ныне
Проклятия нам шлет и жгущим ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной
Он напояет. – Издали до нас
Доходит голос гневного поэта,
Знакомый голос! Боже! ниспошли
Твой мир в его озлобленную душу.

И в той же «Бородинской годовщине» он уверяет поляков, что те «не услышат песнь обиды от лиры Русского певца». Но и Польский певец проводил погибшего на дуэли русского собрата достойными словами прощания:

«Пуля, сразившая Пушкина, нанесла ужасный удар умственной России. Она имеет ныне отличных писателей... но никто не заменит Пушкина. Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-видимому, друг друга исключают качества. Пушкин, коего талант поэтический удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным... Он нажил себе много врагов эпиграммами и колкими насмешками. Они мстили ему клеветою. Я довольно близко и довольно долго

знал русского поэта; находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил: все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца. Он умер 38 лет».

На многие последующие годы польско-русский диалог или спор, или наш западно-восточный диван по словечку, введённому в литературу Гёте, делается менее звучным в поэзии, но это совсем не значит, что национальные отношения стали семейными. Восстание «задушено» (точно, как долженствует у Пушкина), мятежники подвергнуты казням, бессрочной каторге в Сибирь или ссылкам в отдалённые места Империи. Польский вопрос, следовательно, на десятилетия был перенесён в Россию. И через 30 лет – новое восстание, новые казни и каторжные сроки. Если приковать руку русского декабриста к руке польского повстанца, вряд ли из этого единения получится братство, ведь общие тяготы и унижения не способствуют размягчению сердец. Мне кажется, что где-то здесь, в каторжном опыте автора таится разгадка отталкивающих образов поляков в романе «Братья Карамазовы», – скорей, чем в «иррациональной» полонофобии Достоевского, иначе никак не объяснимой.

«Юность – это возмездие». Эпиграф из Ибсена Александр Блок взял для поэмы, которую он так и назвал – «Возмездие». В ней он повествует о поездке к отчуждённому от семьи отцу в Варшаву, на «задворки польские России» (причём, даже не Европы). Такими задворками сделала Польшу целенаправленная национальная политика Империи. Но возмездие – кому? Если это о конфликте между поколениями, то оно не состоялось: сын запоздал, отец накануне скончался. Если это о главенстве одной нации над другой, то всё равно неясно, каким образом возмездие воздаётся – неужели опощением национальной жизни, осознанием исторической неудачи?

Не также ль и тебя, Варшава,
Столица гордых поляков,
Дремать принудила орава
Военных русских пошляков?

Во всяком случае, гениально задуманная Блоком поэма-угроза или поэма-предупреждение о возмездии осталась не закончена...

Родившемуся в Варшаве Осипу Мандельштаму эта страна представлялась в женственных, быть может, любовных тонах. Для него она «Польша нежная, где нету короля». Неожиданный эпитет оказался удивительно приемлем для государства с несчастливой судьбой, так неудачно, между ревнивых соискателей, расположенного на карте

Европы. Всё, что можно было ожидать от таких соседей, Польша сполна испытала в XX веке, но историческую справку на этот счёт я уступаю «былинникам речистым», которые до сих пор не договорились о заключении пакта Риббентроп-Молотов и вытекших из того последствий.

Одним из таких последствий, помимо Мировой войны, разрушенных городов, выжженных стран и, увы, гекатомб человеческих жертв, произошло событие – может быть, ничтожно малое в исторической перспективе, но существенное для появления поэтического шедевра **Анны Ахматовой** «Из Ташкентской тетради». Это была встреча поэтессы, эвакуированной из блокадного Ленинграда в Ташкент, и **Юзефа Чапского**, художника и офицера польской Армии Андерса. Вот как он сам о том рассказал.

«У меня самого нет сомнений, что стихотворение 1959 года – это поэтическое воспоминание семнадцатилетней давности о той ночи, когда я провожал её от Алексея Толстого, о вечере, который я описал в книге, где я читал a livre ouvert Норвида и стихи Балинского и Слонимского, которые дошли до нас из Лондона. Затем она читала наизусть свою «Ленинградскую поэму». Помню, как провожал её поздно ночью. Сиял месяц. Дневная жара сменилась прохладой. Оба мы были пьяны стихами. Анна Андреевна не в самой учтивой форме отослала кого-то, кто хотел её провожать. Тогда она и призналась мне, что смертельно боится за сына.

«Я целовала сапоги всем знатным большевикам, чтобы мне сказали, жив он или мертв – я ничего не знала». И внезапно эта женщина, такая горделивая в гостиную Толстого, этого сталинского сановника, такая отстранённая от всех нас, стала мне по-человечески близка, оказалась другой женщиной и абсолютно трагическим человеком. Тогда она сказала мне: «Сама не знаю, что это, ведь мы почти незнакомы, но вы мне ближе всех людей вокруг». Она могла спокойно говорить со мной, чувствовала иную атмосферу, большую свободу, отсутствие страха, который душил тогда в России каждый вздох у людей, буквально у всех.

Как благодарен я ей за это стихотворение, за то, что она захотела увидеть меня еще раз в Париже, и как не могу простить себе того, что не удалось мне с ней поговорить по душам, выслушать её, как бывало однажды, не думал я, что то краткое свидание на людях станет последней встречей, и я больше никогда её не увижу и уже не скажу ей, чем стали для меня некоторые ее стихи и та ташкентская встреча».

ИЗ ЦИКЛА «ТАШКЕНТСКИЕ СТРАНИЦЫ»

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Своё бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, –
Одни под созвездием змея,
Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад,
Но, увы, не Варшава, не Ленинград,
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...

И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе,
Ты знай, что приснилась кому-то
Священная эта минута.

Перелетим сразу в послевоенную пору, в разгар новой «дружбы народов» так называемого Социалистического лагеря. Конечно, на самом деле этот лозунг оборачивался политическим подавлением стран-сателлитов, но расхожая шутка тех дней гласила, что «самым весёлым баракком лагеря» была Польша. Принцип интернационализма, даже формально осуществлённый, всё-таки имел многие положительные стороны. Прежде всего расцвела индустрия поэтических переводов с языков со-лагерных народов. Образовались структуры с авторитетами во главе, они получали крупные издательские заказы и, не в силах справиться сами, делились подстрочниками с литераторами помельче. Таким боссом по переводам из чешской и польской поэзии был **Давид Самойлов**, и я припоминаю, как наша тогдашняя когорта, условно обозначенная как **Жозеф, Анатоль, Эжен и Деметр** навестила его в Москве, желая познакомиться с поэтом, тогда ещё «маленьким, словно великое герцогство Люксембург» по эпиграмматическому высказыванию **Бориса Слуцкого**. Маленьким, но великим!

Мы уже знали, что Слуцкому принадлежит стихотворное посвящение **Владиславу Броневскому**, где он соединяет историческую судьбу Польши и судьбу самой Поэзии, создавая сильнейший образ.

Покуда над стихами плачут,
пока в газетах их порочат,
пока их в дальний ящик прячут,
покуда в лагеря их прочат, –

до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело,
оно, как Польша, не згинело,
хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,
я точности не знаю большей,
чем русский стих сравнить с поляком,
поэзию родную – с Польшей.

Ещё вчера она бежала,
заламывая руки в страхе,
ещё вчера она лежала
почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит
и наглым хохотом хохочет.
А то, что было, то, что будет, –
про это знать она не хочет.

Но вернёмся к Давиду Самойлову. Как раз то, что его собственные стихи со скрипом пускали в печать, нас единило, а то, что он босс в переводах, внушало надежду поживиться остатками с его стола (письменного, конечно), и что ж? Он делился. А его переводы из **Юлиана Тувима** были бесподобны. «Пан Трулялинский» искрился и фонтанировал весельем, «Томашув» чуть ли не вышибал ностальгическую слезу, – так его и пела потом Эва Дымарчик. А эстетически дерзкая поэма «Обоз» о ночном вывозе нечистот из города и переключке золотарей с проститутками остался совершенно аховым шедевром, погребённым в моей памяти.

Но за **Константы Ильдефонсом Галчинским** нам с Жозефом пришлось отправиться трамваем на Петроградскую сторону, где жила польская студентка, владелица двух дисков с записями его авторского чтения. Услышать голос поэта – для меня это было всё, но не всё для Жозефа, исполненного своей будущностью! Мало того, что он перевёл с голоса две поэмы Галчинского, включая шедевральную «Зачарованную дорожку», он ещё написал собственную поэму – «Зофью», посвящённую панночке хозяйке.

Как в перевёрнутом бинокле, в культурном отношении Советская империя 60-х сама стала задворками Европы и вообще Западного мира. Так думали молодые аутсайдеры, не нашедшие себе места в

соцреализме. В нашем ленинградском «культурном захолустье» переносчиком идей «оттуда» был **Ефим Славинский**. Способный к языкам, он воспринимал их, не уча; в библиотеке погружался в мир польских журналов (а более западные были под запретом) и извлекал множество захватывающих сведений о жизни на Западе: литературные моды, культурные сенсации, стиль. Этого ему не пустили, и после нескольких лет пребывания в лагере и «на химии» в Новокузнецке, от отбыл на Запад. Обосновавшись в Лондоне, он, по существу, занялся тем же на БиБиСи – вещал на весь Союз о новостях культуры, о самиздате и тамиздате, рассказывал о диссидентах, читал стихи запрещённых поэтов.

А вот характерное высказывание москвича с похожей судьбой, а затем парижанина **Вадима Козового**, диссидента тех лет. «Для определённой части интеллигенции в Советском Союзе Польша с 1955–1956 гг. служила мостом в Европу, в европейскую культуру – начиная с культуры самой отвлечённой, культуры идей и вплоть до политической культуры. То, что было запрещено или не допускалось советской цензурой, доходило до нас в Москве через Польшу, через польские книги, журналы, кино и театр». Добавлю от себя, кстати, что журнал «Польша», официально распространяемый в Москве и Ленинграде, издавался большим форматом с немислимо яркими модернистскими обложками. Их открыто носили молодые фрондёры, держа подмышкой, по ним определяя в уличной толпе своих.

Поэт и геолог **Владимир Британишский**, один из первых и ранних ленинградских «шестидесятников», начинавших в 50-е, был привержен Польше по одной половинке своего происхождения. Его мать, Франческа Осинская, была полькой, полячкой из Гатчины. Брит, как его кратко называли сверстники, рано выбился в печать, выпустив книгу стихов «Поиски» в 1958 году. Конечно, она была выщелочена многоступенчатой цензурой, но оставалась честной книгой. А в неподцензурных стихах он проявлял и незаурядный талант, и гражданскую смелость, став герольдом недолгой хрущёвской Оттепели. Возможно, его прямота и правдолюбие помешали Бриту стать «звездой», подобно известным москвичам. Он остался поэтом, но работал геофизиком в экспедициях. Польская тема настигала его на Урале и в Сибири.

Март – солнечный. Сибирь в снегах и льдах,
как мраморный мемориальный комплекс.
И как Адама помнит Аюдаг,
так и Сибирь своих поляков помнит.

И каждый раз, едва в Сибирь войду,
я вижу в недрах вечномёрзлой толщи,

как будто тушу мамонта во льду,
закоченелый труп несчастной Польши.

Где намечал Никита Муравьёв
Обийскую и Ленскую державы,
простор пустынный полон до краёв
полупрозрачным призраком Варшавы.

Я не могу переступить Урал:
мне видится одно и то же: Боже!..
Хоть знаю, что Словацкий умирал
в Париже. И Шопен. И Норвид, позже...

Его женой и соратницей стала поэтесса **Наталья Астафьева**, по рождению варшавянка, живущая в Москве. Там они оба вступили в Союз писателей и стали профессиональными переводчиками и исследователями-полонистами. Как-то они умудрились в советское время находить, переводить и, главное, печатать подлинную поэзию польских классиков и современных польских собратьев по перу. Совместно они издали антологию «Польские поэты XX века» в двух томах со своими переводами, и отдельно у Британишского вышла книга «Речь Посполитая поэтов» с очерками и научными статьями на тему, соответствующую заглавию. Это был большой, размером в две жизни, вклад в гипотетическую дружбу народов, и поляки трогательно отблагодарили авторов: они перевели на свой язык книгу «Двуглас», составленную из стихов Астафьевой и Британишского, сделав её двуязычной.

Не меньшей полономанкой была поэтесса **Наталья Горбаневская**, при том, что она держалась твёрдых гражданских позиций в родной стране, была активной правозащитницей, участвовала в дерзком протесте на Красной площади против оккупации Чехословакии в 1968 году. Подвергнутая репрессиям именно за общественный темперамент, выданная за рубеж, она много лет прожила в Париже без французского гражданства, пока с почётом не приняла польское.

«Берегите её, она настоящая» – говорила о ней Ахматова. Эти слова были обращены ко мне, и я воспринял их как признание поэтического дара Натальи и беспокойство за её судьбу, – и дар, и судьба оправдались. Вот её точный, правдивейший автопортрет в стихах.

Как андерсовской армии солдат,
как андерсеновский солдатик,
я не при деле. Я стихослагатель,
печально не умеющий солгать.

О, в битву я не ради орденов,
не ординарцем и не командиром –
разведчиком в болоте комарином,
что на трясучей тропке одинок.

О – рядовым! (Атака догорает.
Раскинувши ладони по траве —
а на щеке спокойный муравей
последнюю кровинку догоняет.)

Но преданы мы. Бой идет без нас.
Погоны Андерса, как пряжки танцовщицы,
как туфельки и прочие вещицы,
и этим заменён боезапас.

Песок пустыни пляшет на зубах,
и плачет в типографии наборщик,
и долго веселится барахольщик
и белых смертных поставщик рубах.

О родина!..
Но вороны следят,
чтоб мне не вырваться на поле боя,
чтоб мне остаться травкой полевою
под уходящими подошвами солдат.

Бутафорская дружба народов дала трещину, когда поляк **Карол Войцyla** стал Римским папой **Иоанном-Павлом Вторым**, а рабочее движение Солидарность возглавил электрик из Гданьска **Лех Валенса**. У каждого из них была своя провиденциальная задача, но каждый в груди лелеял образ независимой Польши, «неподлегшей» под Россию. Во всём мире следили за событиями, и от «русских» ожидалось очередное военное вторжение в Польшу. 13 мая 1981 года какой-то наймит стрелял в Папу и тяжело ранил его. Я в это время был уже в Америке, работал инженером в электронной фирме, основатель которой ещё до войны покинул Польшу и из сочувствия (или из расчёта) нанимал на работу довольно много эмигрантов Третьей волны, моих соотечественников. Но русским был я один, и потому, как только заговаривали про польско-советские дела, поглядывали на меня. Посматривали и на Тадеуша, молодого инженера, который изнывал от дурных вестей с родины. Шёл декабрь, там бурлила всеобщая забастовка, а русские (или всё же советские?) устроили войсковые манёвры у границы, и все гадали в нетерпении: когда же они введут свои танки? В воскресенье мне позвонил Славинский из Лондона, с дежурства на БиБиСи: Варшава закрыла эфир, по радио целый день звучит один Шопен. И мы припомнили, как при смене власти в Союзе

по радио звучал один Чайковский – «Лебединое озеро». Но тут было другое – генерал **Войцех Ярузельский** в тёмных очках от снежной слепоты, полученной в сибирской ссылке, объявил в Польше военное положение. Советскими ли, русскими ли стоило обзывать те танки, но поляки обошлись без них, и многие тогда вздохнули с облегчением. А я написал стихи.

ПОЛЬШЕ

Бравурно говорлив, чернокрылат и лаков,
жемчужную картavinку рояль
пророкотал и выплеснул, восплакав...
Но благородный звук никак не окрылял
ни «Польшу нежную, где нету короля»,
ни бурно негодующих поляков.

Увы, не волновал блистательный клавир
ни прелестью прохлад, ни прелью жара,
которыми он Истину кривил:
заполонил эфир как раз, когда Варшава
белками, бедная, от немоты врацала.
И плыл аккорд по клавиши в крови...

Конечно, под прямым присмотром сюзерена...
Но – свой же, свой! – на марсовых полях,
чтобы страна не стала суверенна,
орла когтит орёл, и с ляхом бьётся лях.
– Тадеуш, ты хорош не тем, что ты поляк,
лишь – ежели мышление созрело!

Виновен ли при том со-братственный народ?
В другом бараке общего режима
ярмо ему больней и дольше трёт.
Но, чтобы Музы ввек беда не раздружила,
наш дивный Мандельштам, свои распялив жилы,
о Польше пел, небесный патриот...

Всё той же властью неправедной замучен...
Виновен ли со-ангельский ему
со-херувим в лазури благозвучий,
что музыка его маскировала тьму –
прославленный Шопен – куда зовущий?

Хотя бы в этот час чахоточно зардейсь!
Не отдадим серебряного дара!
И дорог мне поляк, но не гордец.
Скорее ты со мной, гордячка, солидарна,
пока расстрелянною шубкой смотришь странно
в сестричестве растерянных сердец.

Вот я и говорю: братья во славянстве, а также прочие братья и сёстры, взгляните в русские лица, прежде чем швыряться в них совками и валенками.

Champaign IL, июль 2021